

## СУМЕРКИ ИДОЛОВ, ИЛИ КАК ФИЛОСОФСТВУЮТ МОЛОТОМ

*1888, выдержки Дятлова Н. С. от 19.04.2026, 1-26/62=58%*

1. Только излишек силы служит доказательством силы.
2. Переоценка всех ценностей, этот вопросительный знак, столь чёрный, столь чудовищный, что он бросает тень на того, кто его ставит,
3. Война всегда была великой находкой всех сокровенных, ставших слишком глубокими умов; даже в полученных ранениях заключена целебная сила.
4. Души крепнут, добродетель расцветает от ран
5. Другое лечение, в некоторых случаях для меня более желательное — это прислушиваться к идолам... В мире больше идолов, чем реальностей: это мой «злой взгляд» на этот мир, а ещё — моё «злое ухо»... Задавать здесь вопросы молотком, чтобы, возможно, услышать в ответ тот самый гулкий полый звук, говорящий о вздутии,
6. Это маленькое сочинение — великое объявление войны; что же касается простукивания идолов, то на сей раз это не временные, а вечные идола, к которым здесь прикасаются молотком, как камертоном, — и нет на свете более старых, более уверенных, более надутых идолов... И более полых... Это не препятствует тому, что в них больше всего верят; да и называют их, особенно тех, кто поважнее, отнюдь не идолами...
7. Чтобы жить в одиночестве, надо быть зверем или богом, говорит Аристотель. {4} Тут не учтён третий случай: надо быть и тем и другим — философом...
8. Я хочу раз навсегда не знать многого. — Мудрость полагает границы также и познанию.
9. Как? разве человек только ошибка Бога? Или Бог только ошибка человека? {6}
10. Из боевой школы жизни. — Что не убивает меня, то делает меня сильнее.
11. Помогай себе сам: тогда поможет тебе и каждый. Принцип любви к ближнему.
12. Не проявлять трусости по отношению к своим поступкам! Не отворачиваться от них! — Угрызения совести неприличны.
13. Человек не стремится к счастью; к нему стремится только англичанин.
14. В черновых набросках афоризм начинался словами: «Женщина, “вечная женственность” — это попросту воображаемые ценности, в которые верит только мужчина».
15. Что? Ты ищешь? Ты хотел бы удесятить, увеличить себя во сто раз? Ты ищешь приверженцев? — Ищи нулей! {9}
16. Посмертных людей — меня, например, — понимают хуже, чем современных, но лучше слушают. Говоря точнее: мы никогда не будем поняты — и отсюда наш авторитет... {10}
17. («потому что понимание уравнивает»).
18. хлеба и Цирцеи (лат.).
19. Ницше обыгрывает выражение Ювенала (Sat. 10, 81) «panem et circenses» (хлеба и зрелищ).
20. Как? вы выбрали добродетель и возвышенные чувства, и одновременно поглядываете с завистью на барыши людей бесцеремонных? — Но ведь, выбрав добродетель, отказываются этим от «барышей»... (на входную дверь антисемиту).
21. Совершенная женщина занимается литературой так же, как совершает маленький грех: для пробы, мимоходом, оглядываясь, замечает ли это кто-нибудь, и чтобы это кто-нибудь заметил... {12}
22. «У злых людей нет песен». {14} — Отчего же у русских есть песни?
23. Чувство удовлетворения предохраняет даже от простуды. Простуживалась ли хоть одна женщина, умеющая хорошо одеваться? — Я имею в виду те случаи, когда она была едва одета.
24. Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности.
25. Если у женщины мужские добродетели, то от неё впору бежать; если же у неё нет мужских добродетелей, то она убежит сама.

26. Есть ненависть ко лжи и притворству, порождённая щепетильностью в вопросах чести; есть такая же ненависть, порождённая трусостью, поскольку ложь запрещена божественной заповедью. Слишком труслив, чтобы лгать...
27. Бывают случаи, когда мы уподобляемся лошадям, мы, психологи, и впадаем в беспокойство: мы видим перед собой нашу собственную колеблющуюся тень. Чтобы вообще видеть, психолог должен не обращать внимания на себя.
28. Наносим ли мы, имморалисты, ущерб добродетели? — Столь же мало, как анархисты — государям: с тех пор, как в них начали стрелять, они снова крепко засели в своих тронах. Мораль: нужно стрелять в мораль. {22}
29. Ты настоящий? Или только актёр? Выступаешь ли ты вместо чего-то или ты и есть то, что должно выступить на свет? — В конце концов ты ведь можешь оказаться всего-навсего копией актёра... Это второй вопрос совести. {24}
30. Говорит разочарованный. — Я искал великих людей, а находил всего лишь обезьян их идеала.
31. Ты из тех, кто только смотрит? Или кто участвует? Или кто не обращает внимания, идёт своей дорогой?.. Это третий вопрос совести. {25}
32. О жизни мудрейшие люди всех времён судили одинаково: она никуда не годится... Всегда и всюду из их уст слышали один и тот же вздох — вздох, полный сомнений, полный тоски, усталости от жизни, противостояния жизни. Даже Сократ сказал, умирая: «Жить — это значит быть долго больным: я должен исцелителю Асклепию петуха». {28} Даже Сократу она надоела. — Что это доказывает? На что это указывает?
33. Consensus sapientium [6] доказывает истину».
34. эти мудрейшие всех времён, надо бы сперва взглянуть на них поближе! {29} Быть может, все они уже не твёрдо стояли на ногах? Были утомлёнными? Пошатывающимися? Декадентами? Не появляется ли, быть может, мудрость на земле, как ворон, которого вдохновляет малейший запах падали?..
35. Упомянутый выше consensus sapientium — я понимал это всё яснее — менее всего доказывает их правоту в том, в чём они совпадали: он доказывает скорее, что сами они, эти мудрейшие, кое в чём совпадали физиологически, раз они относились — вынуждены были относиться — в равной мере отрицательно к жизни.
36. Как? а все эти великие мудрецы — оказывается, они были не только *décadents*, оказывается, они даже и не были мудрыми?
37. Сократ по своему происхождению принадлежал к низшим слоям народа: Сократ был чернью. Известно, и даже можно до сих пор увидеть, насколько он был уродлив.
38. Антропологи из среды криминалистов говорят нам, что типичный преступник уродлив: *monstrum in fronte, monstrum in animo* [8]. Но преступник есть *décadent*.
39. чудовище по виду, чудовище в душе (лат.).
40. На *décadence* указывает у Сократа не только признанная разнузданность и анархия в инстинктах; на это указывает также перепроизводство {31} логического и характерная для Сократа злоба рахитика. Не забудем и о тех слуховых галлюцинациях, которые были истолкованы на религиозный лад, как «демоний Сократа» {32}.
41. Я пытаюсь постичь, из какой идиосинкразии проистекает сократовское уравнение: разум = добродетель = счастье — это причудливейшее из всех существующих уравнений, которое особенно претит всем инстинктам древних эллинов.
42. С Сократа греческий вкус меняется в пользу диалектики; что же там, собственно, происходило? Прежде всего ею оказался побеждён аристократический вкус; вместе с диалектикой наверх всплывает чернь. До Сократа в хорошем обществе чурались диалектических манер: они считались дурными манерами, они компрометировали. Молодёжь предостерегали от них. Также не доверяли всему этому выкладыванию доводов. Приличные вещи, как и приличные люди, не таскают своих доводов так вот в руках. Неприлично показывать всю пятерню. То, что сперва ещё должно себя доказать, стоит немногого. всюду, где авторитет относится ещё к числу хороших обычаев, где не «обосновывают», а

- приказывают, диалектик оказывается чем-то вроде паяца: над ним смеются, его не принимают всерьёз. — Сократ был паяцем, заставившим принять себя всерьёз:
43. Диалектику выбирают лишь тогда, когда нет никакого другого средства. Известно, что ею возбуждаешь недоверие, что она мало убеждает. Ничто так легко не изглаживается, как эффект, произведённый диалектиком: это доказывает опыт любого собрания, где произносятся речи. Она может быть лишь средством вынужденной защиты в руках людей, не имеющих никакого иного оружия.
  44. Что такое ирония Сократа? Выражение протеста? Ресентимент черни? Не наслаждается ли он, как угнетённый, своей собственной свирепостью, вонзая, как нож, свои силлогизмы? Мстит ли он знатным, которых очаровывает? — Если ты диалектик, то у тебя в руках беспощадное орудие, им можно тиранить; побеждая, ты ещё и компрометируешь. Диалектик вынуждает своего противника доказывать, что тот не идиот: он приводит в бешенство и вместе с тем делает беспомощным. Диалектик депотенцирует интеллект своего противника. — Как? разве диалектика у Сократа является только формой мести?
  45. Коль скоро из разума понадобилось делать тирана, как это сделал Сократ, то должна была существовать немалая угроза того, что таким тираном сделается нечто иное. В разумности тогда угадали спасительницу; ни Сократ, ни его «больные» не были вольны быть разумными — это было *de rigueur* [11], это было их последнее средство. Фанатизм, с которым все греческие помыслы набрасываются на разумность, выдаёт бедственное положение: находились в опасности, был только один выбор: или погибнуть, или — быть абсурдно-разумными...
  46. Разум = добродетель = счастье — это просто означает: надо подражать Сократу и возжечь против тёмных вожделений раз и навсегда дневной свет — дневной свет разума. Надо быть благоразумным, ясным, светлым во что бы то ни стало: каждая уступка инстинктам, бессознательному ведёт вниз...
  47. Это самообман со стороны философов и моралистов, будто они уже тем выходят из *décadence*, что объявляют ему войну. Выйти из него — выше их сил: то, что они выбирают как средство, как спасение, само опять-таки является выражением *décadence* — они меняют его выражение, они не устраняют его самого.
  48. Сократ был недоразумением; вся исправительная мораль, также и христианская, была недоразумением...
  49. Быть вынужденным побеждать инстинкты — вот формула для *décadence*; но пока жизнь восходит, счастье равно инстинкту.
  50. Понял ли он это сам, этот умнейший из всех перехитривших самих себя? [12] Не сказал ли он это себе под конец мудростью своей отваги к смерти?.. Сократ хотел умереть: не Афины ему, а он себе дал чашу с ядом, он вынудил Афины дать эту чашу... «Сократ не врач, — тихо сказал он себе, — одна смерть здесь врач... Сократ сам был долго всего лишь больным...»
  51. И вот все они, даже с каким-то отчаянием, верят в сущее. Но так как не могут его заполучить, то ищут причин, почему его от них скрывают. «Должна быть иллюзия, обман в том, что мы не воспринимаем сущего: где же скрывается обманщик?» — «Мы нашли его, — кричат они радостно, — это чувственность! Эти чувства, которые и без того так безнравственны, обманывают нас относительно истинного мира. Мораль: следует освободиться от обмана чувств, от становления, от истории, от лжи, — история есть не что иное, как вера в чувства, вера в ложь. Мораль: отречься от всего, что верит чувствам, от всего остального человечества — всё это “люд”. Быть философом, быть мумией, с мимикой могильщика изображать монотонотеизм! — И прежде всего прочь тело, эту жалкую *idée fixe* чувств! Обременённое всеми ошибками логики, какие только есть, опровергнутое, даже невозможное, хотя и достаточно наглое для того, чтобы изображать из себя нечто действительное!..»
  52. Гераклит тоже был несправедлив к чувствам. Они лгут не так, как полагали элеаты, но и не так, как полагал он, — они вообще не лгут. Лишь то, что мы сами делаем из их свидетельства, вкладывает в них ложь, — к примеру, ложь единства, ложь вещности, субстанции, длительности... {33} «Разум» — причина того, что мы искажаем свидетельство

чувств. Поскольку чувства показывают нам становление, минование, перемену, они не лгут...

53. — А сколь тонкими орудиями наблюдения снабжены наши чувства! К примеру, этот нос, о котором ещё ни один философ не говорил с почтением и благодарностью, является между прочим деликатнейшим из всех находящихся в нашем распоряжении инструментов: он способен констатировать самые минимальные разности движения, которых не констатирует даже спектроскоп. Мы владеем нынче наукой ровно постольку, поскольку мы решились принимать свидетельство чувств и поскольку научились ещё и изоэцрять их, вооружать, додумывать до конца.
54. Другая идиосинкразия философов не менее опасна: она состоит в смешивании последнего и первого. Они ставят в начале как таковом то, что появляется в конце, — к сожалению! Ибо оно не должно бы появляться вовсе! — «высшие понятия», т. е. самые общие, самые пустопорожние понятия, последний дым испаряющейся реальности.
55. Вот у них и получилось их удивительное понятие «Бог»... Последнее, самое разреженное, самое пустое предполагается как первое, как причина сама по себе, как *ens realissimum* [15]...
56. «Разум» в языке — ох, что это за старая лживая бабёнка! Я боюсь, что мы не избавимся от Бога потому, что ещё верим в грамматику...
57. Первое положение. Основания, в силу которых «этот» мир был охарактеризован как кажущийся, скорее доказывают его реальность, — реальность иного рода абсолютно недоказуема. Второе положение. Признаки, которыми наделили «истинное Бытие» вещей, суть признаки не-бытия, признаки, указывающие на ничто. «Истинный мир» построили из противоречия действительному миру — вот на самом деле кажущийся мир, поскольку он является лишь морально-оптическим обманом. Третье положение. Бредить об «ином» мире, чем этот, не имеет никакого смысла, при условии, что мы не обуреваемы инстинктом оклеветания, унижения, опорочения жизни: в последнем случае мы мстим жизни фантазмагорией «иной», «лучшей» жизни. Четвёртое положение. Делить мир на «истинный» и «кажущийся», всё равно, в духе ли христианства или в духе Канта (в конечном счёте просто вероломного христианина), — это лишь внушение *décadence* — симптом нисходящей жизни... Что художник ценит видимость выше реальности, не может служить возражением против данного положения. Ибо «видимость» означает здесь плюс ещё одну реальность, но только прошедшую отбор, усиленную, скорректированную... Трагический художник вовсе не пессимист, он говорит как раз Да всему тёмному и даже страшному, он дионисичен...
58. 4. Истинный мир недостижим? Во всяком случае не достигнут. А поскольку не достигнут, то и неведом. Следовательно, он и не утешает, не спасает и не обязывает: к чему может обязывать нас нечто неведомое?..
59. Некогда из-за глупости, заключающейся в страсти, объявили войну самой страсти: дали клятву уничтожить её, — все нравственные чудища старых времён сходятся в том, что «*il faut tuer les passions*» [18]. Самая знаменитая формула этого находится в Новом Завете, в той Нагорной проповеди, где, кстати сказать, вещи рассматриваются отнюдь не с высоты. Там, например, говорится применительно к половой сфере: «если глаз твой соблазняет тебя, вырви его» {38} — к счастью, ни один христианин не следует этому предписанию. Уничтожать страсти и вожеления только для того, чтобы предотвратить их глупость и неприятные последствия этой глупости, кажется нам нынче в свою очередь только острой формой глупости. Мы уже не превозносим тех зубных врачей, которые вырывают зубы, чтобы они больше не болели... С другой стороны, нельзя не признать с некоторой справедливостью, что на той почве, из которой выросло христианство, вовсе не может иметь места концепция понятия «одухотворение страсти». Ведь, как известно, первая церковь боролась против «интеллигентных» на благо «нищих духом»; с чего бы ждать от неё интеллигентной войны со страстью? — Церковь устраивает против страсти во всех смыслах резню: её практика, её «лечение» есть кастрация. Она никогда не спрашивает: «как одухотворить, украсить, обожествить вожеление?» — она во все времена ставила дисциплинирующий акцент на искоренении (чувственности, гордости, властолюбия,

- алчности, мстительности). — Но подрывать корень страстей значит подрывать корень жизни: практика церкви враждебна жизни...
60. Без радикальных средств не могут обойтись лишь дегенераты; слабость воли, говоря определённое, неспособность не реагировать на раздражение, есть в свою очередь только другая форма вырождения.
  61. Одухотворение чувственности называется любовью: оно является великой победой над христианством. Другая победа — это наше одухотворение вражды. Оно состоит в глубоком понимании ценности иметь врагов: словом, в том, что поступаешь и умозакключаешь обратно тому, как поступали и умозаклучали некогда. Церковь хотела во все времена уничтожения своих врагов — мы же, мы, имморалисты и антихристиане, видим нашу выгоду в том, чтобы церковь продолжала существовать... Также и в области политики вражда стала теперь одухотвореннее — гораздо благоразумнее, гораздо рассудительнее, гораздо снисходительнее. Почти каждая партия видит интерес своего самосохранения в том, чтобы враждебная партия не обессилела; то же самое можно сказать и о большой политике. В особенности новые образования, к примеру, новая империя, более нуждаются во врагах, нежели в друзьях: только в контрасте чувствуют они себя необходимыми, только в контрасте становятся они необходимыми... Не иначе относимся мы и к «внутреннему врагу»: и тут мы одухотворили вражду, и тут постигли её ценность. Являешься плодовитым лишь в силу того, что богат контрастами; остаёшься молодым лишь при условии, что душа не обмякает, не жаждет мира...
  62. Ничто не стало нам более чуждым, чем эта прежняя желанность, желанность «мира в душе», христианская желанность; ничто не возбуждает в нас менее зависти, чем моральная жвачка и жирное счастье чистой совести. Отказываясь от войны, отказываешься от великой жизни... воли»... Сумерки идолов: кто знает? быть может, это тоже лишь некий вид «мира в душе»...
  64. Протиестественная мораль, т. е. почти всякая мораль, которой до сих пор учили, которую читали и проповедовали, напротив, оборачивается как раз против инстинктов жизни — она оказывается то тайным, а то и явным и даже дерзким осуждением этих инстинктов. Говоря, что «Бог знает сердца» {40}, она говорит «Нет» низшим и высшим вожеланиям жизни и считает Бога врагом жизни... Святой, угодный Богу, есть идеальный кастрат... Жизнь кончается там, где начинается «Царствие Божие»...
  65. Говоря о ценностях, мы говорим под влиянием вдохновения, под влиянием оптики жизни: сама жизнь принуждает нас устанавливать ценности, сама жизнь оценивает через нас, когда мы определяем ценности... {41}
  66. Мораль, как её понимали до сих пор — как напоследок её сформулировал ещё и Шопенгауэр в качестве «отрицания воли к жизни», — есть сам инстинкт *décadence*, обращающий себя в императив. Она говорит: «погибни!» — она есть суждение осуждённых...
  67. Вникнем же наконец в то, какая наивность вообще говорить: «человек должен быть таким-то и таким-то!». Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь расточительной игры и смены форм, а какой-нибудь несчастный подёнщик-моралист говорит на это: «Нет! человек должен бы быть иным»?.. Этот лизоблюд и пустосвят знает даже, каким именно должен быть человек; он малюет на стене самого себя и говорит при этом «есе homo!»... Но даже когда моралист обращается к отдельному человеку и говорит ему: «Ты должен бы быть таким-то и таким-то!» — он не перестаёт делать себя посмешищем. Индивид есть во всех отношениях частица фатума, ещё один закон, ещё одна необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему: «изменись» — значит требовать, чтобы всё изменилось, даже вспять...
  68. Мораль, поскольку она осуждает, сама по себе, а не из видов, соображений, целей жизни, есть специфическое заблуждение, к которому не следует питать ни малейшего сострадания, идиосинкразия дегенератов, причинившая невыразимое количество вреда!.. Мы, иные, мы, имморалисты, наоборот, раскрыли наше сердце всякому пониманию, постижению, одобрению.
  69. Заблуждение, заключающееся в смешивании причины и следствия. — Нет более опасного заблуждения, чем когда путают следствие и причину: я считаю его настоящей порчей разума.

Тем не менее это заблуждение принадлежит к числу наиболее древних и ранних привычек человечества: оно даже освящено у нас, и носит название «религии», «морали». Его содержит в себе каждое положение, формулируемое религией и моралью; виновниками этой порчи разума являются жрецы и законодатели нравственности.

70. Универсальная формула, лежащая в основе всякой религии и морали, гласит: «делай то-то и то-то, не делай того-то и того-то — и будешь счастлив! В противном случае...» Каждая мораль, каждая религия есть этот императив — я называю его великим первородным грехом разума, бессмертным неразумием. В моих устах эта формула превращается в свою противоположность — первый пример моей «переоценки всех ценностей»: удавшийся человек, «счастливцев», должен совершать определённые поступки и инстинктивно страшится других поступков, он вносит порядок, который он физиологически являет собою, в свои отношения к людям и вещам. Формулируя это: его добродетель есть следствие его счастья... Долгая жизнь, многочисленное потомство не есть награда за добродетель, скорее сама добродетель есть то замедление обмена веществ, которое, среди прочего, имеет следствием долгую жизнь, многочисленное потомство, словом, корнаризм. — Церковь и мораль говорят: «род людской, народы гибнут от порока и роскоши». Мой восстановленный разум говорит: если народ гибнет, физиологически вырождается, то из этого вытекают пороки и роскошь (т. е. потребность всё в более сильных и частых раздражениях, которая знакома всякой истощённой натуре).
71. Я говорю: то, что он стал больным, что он не сопротивлялся болезни, было уже следствием оскудевшей жизни, наследственного истощения. Читатель газет говорит: эта партия погубит себя такой ошибкой. Моя высшая политика говорит: с партией, делающей такую ошибку, уже покончено — она лишилась инстинкта самосохранения. Всякая ошибка во всяком смысле есть следствие вырождения инстинкта, дисгрегации воли: это практически определение дурного. Всё хорошее есть инстинкт — и, следовательно, оно легко, необходимо, свободно.
72. Заблуждение ложной причинности. — Во все времена верили, будто знают, что такое причина, — но откуда взяли мы это знание, точнее, нашу веру, что мы знаем это? Из области знаменитых «внутренних фактов», из которых ни один до сих пор не выказал своей фактичности. Мы воображали самих себя причинными в акте воли; уж по меньшей мере здесь-то мы полагали, что поймали причинность с поличным. Равным образом не сомневались в том, что все *antecedentia* [22] поступка, его причины, следует искать в сознании, и что они найдутся там, если их поискать — в качестве «мотивов»: иначе ведь мы не были бы свободны в поступках, не ответственны за них. Наконец, кто стал бы оспаривать, что мысль причиняется, что Я служит её причиной?.. Из этих трёх «внутренних фактов», которые, казалось, являются порукой за причинность, первым и самым убедительным является факт воли как причины: концепция сознания («духа») как причины, а ещё позже концепция Я («субъекта») как причины родились лишь впоследствии, после того, как причинность была установлена волей как данность, как эмпирия...
73. «Внутренний мир» полон призраков и блуждающих огней: один из них — это воля. Воля уже ничем не движет и, следовательно, также ничего не объясняет — она только сопровождает события, она может даже отсутствовать. Так называемый «мотив» — ещё одно заблуждение. Просто поверхностный феномен сознания, спутник деяния, который скорее скрывает *antecedentia* деяния, нежели демонстрирует их. И даже Я! Оно стало басней, фикцией, игрой слов: оно совершенно перестало мыслить, чувствовать и хотеть!.. Что отсюда следует? Нет никаких духовных причин! Вся мнимая эмпирия в пользу этого пошла к чёрту! Вот что отсюда следует! — И мы мило злоупотребляли этот «эмпирией», мы создали на основании её мир как мир причин, как мир воли, как мир духов. Над этим работала самая древняя и самая долговечная психология, она не делала ничего другого: всякое событие было для неё деянием, всякое деяние — следствием воли, мир стал для неё множеством действующих лиц, действующее лицо («субъект») подсовывало себя под каждое событие. Человек выпроецировал из себя свои три «внутренних факта», то, во что он твёрже всего верил, — волю, дух, Я;

74. Заблуждение о духе как причине смешать с реальностью! И сделать мерилом реальности! {46} И назвать Богом!
75. мы хотим иметь основание на то, чтобы чувствовать себя так-то и так-то — чувствовать себя дурно или хорошо. Нам никогда не бывает достаточно просто констатировать факт, что мы чувствуем себя так-то и так-то: мы допускаем этот факт — сознаём его — лишь когда даём ему нечто вроде мотивировки.
76. Так возникает привычка к известному причино-толкованию, которая в действительности затрудняет исследование причины и даже исключает его.
77. Психологическое объяснение этого. — Сведение чего-нибудь незнакомого к чему-нибудь знакомому облегчает, успокаивает, умиротворяет, кроме того, даёт чувство власти. Незнакомое приносит с собою опасность, беспокойство, заботу — первое же побуждение инстинкта направлено на то, чтобы устранить это тягостное состояние. Первый принцип: лучше, когда есть хоть какое-нибудь объяснение, чем когда нет никакого. Так как дело идёт, в сущности, лишь о желании освободиться от угнетающих представлений, то в средствах освободиться от них не бывают особенно разборчивы: первое представление, которым незнакомое объясняется как знакомое, действует так благотворно, что его «считают истинным». Доказательство от удовольствия («силы») как критерий истины. — Итак, инстинкт причинности обуславливается и возбуждается чувством страха. «Почему?» должно, если только возможно, не столько давать причину ради неё самой, сколько, скорее, причину определённого сорта, — успокаивающую, освобождающую, облегчающую. Первым следствием такой потребности оказывается то, что в качестве причины подставляется нечто уже знакомое, пережитое, записанное в воспоминании. Новое, неизведанное, чуждое в качестве причины исключается. — Таким образом, ища причин, ищут не просто некий вид объяснений, а избранный и привилегированный вид объяснений — такой, благодаря которым быстрее и надёжней всего устраняется чувство чуждого, нового, неизведанного, — словом, самых привычных объяснений. — Следствие: один вид установления причин всё более перевешивает, концентрируется в систему и, наконец, выступает доминирующим, т. е. просто исключаящим другие причины и объяснения. — Банкир сейчас же думает о «деле», христианин — о «грехе», девушка о своей любви.
78. Вся область морали и религии подпадает под это понятие воображаемых причин. — «Объяснение» неприятных общих ощущений. Они обуславливаются враждебными нам существами (злыми духами: самый прославленный случай — ложное понимание истеричек как ведьм). Они обуславливаются такими поступками, которые нельзя одобрить (чувство «греха», «греховности», подсовываемое под физиологическое недомогание, — всегда находишь основания быть недовольным собой). Они обуславливаются как наказания, как расплата за нечто, чего нам не следовало бы делать, чем нам не следовало бы быть (в бесстыдной форме обобщено Шопенгауэром в том положении, в котором мораль выступает тем, что она есть, настоящей отравительницей и клеветницей на жизнь: «Всякое великое страдание, всё равно, телесное или духовное, говорит нам, чего мы заслуживаем, ибо оно не могло бы постичь нас, если бы мы его не заслуживали»). Мир как воля и представление 2, 666 {48}). Они обуславливаются необдуманными, не приводящими к добру поступками (аффекты, чувства предполагаются в качестве причин, в качестве «виновных»; физиологические бедствия истолковываются с помощью других бедствий как «заслуженные»).
79. «Объяснение» приятных общих ощущений. Они обуславливаются упованием на Бога. Они обуславливаются сознанием добрых дел (так называемая «чистая» совесть, физиологическое состояние, порою как две капли воды схожее с удачным пищеварением). Они обуславливаются счастливым исходом предприятий (наивное ложное заключение: счастливый исход предприятия вовсе не вызовет у какого-нибудь ипохондрика или Паскаля приятных общих ощущений). Они обуславливаются верой, любовью, надеждой — христианскими добродетелями.
80. человек в состоянии надеяться потому, что основное физиологическое чувство снова стало сильным и богатым; уповают на Бога потому, что чувство полноты и силы даёт человеку

спокойствие. — Мораль и религия всецело относятся к психологии заблуждения: в каждом отдельном случае причину путают с воздействием; или истину путают с воздействием чего-то считаемого истинным; или же состояние сознания путают с причинностью этого состояния.

81. Всюду, где ищут ответственности, ищущим обыкновенно является инстинкт желания наказывать и судить.
82. учение о воле изобретено главным образом в целях наказания, т. е. желания находить виновных. Вся прежняя психология, психология воли, зиждется на том, что её создатели, жрецы, стоявшие во главе древних общин, хотели закрепить за собой право присуждать к наказаниям — или закрепить такое право за Богом... Людей мыслили «свободными», чтобы их можно было судить и наказывать, — чтобы они могли стать виновными: следовательно, каждый поступок должен был мыслиться как намеренный, а источник каждого поступка — находящимся в сознании (— чем наипринципиальнейшее фальшивомонетничество in psychologicis [25] было возведено в принцип самой психологии...). Нынче, когда мы вступили в стадию обратного движения, когда мы, имморалисты, пытаемся всеми силами снова изъять из мира понятия вины и наказания и очистить от них психологию, историю, природу, общественные установления и санкции, в наших глазах не существует более радикальных противников, чем теологи, продолжающие, посредством «наказания» и «вины», заражать невинность становления понятием «нравственного миропорядка». Христианство есть метафизика палача...
83. В чём может заключаться наше учение? — Что никто не даёт человеку его качеств — ни Бог, ни общество, ни его родители и предки, ни он сам (— бессмыслица последнего из отрицаемых здесь представлений имеет место в учении Канта, как «интеллигибельная свобода», а может быть, уже и у Платона). Никто не ответствен за то, что он вообще существует, что он устроен так-то и так-то, что он находится среди этих обстоятельств, в этом окружении. Фатальность его сущности невозможно вырвать из фатальности всего того, что было и что будет. Он не есть следствие собственного намерения, воли, цели, в лице его не делается попытка достичь «идеала человека», или «идеала счастья», или «идеала нравственности», — абсурдно пытаться свалить его сущность в какую-нибудь цель. Понятие «цель» изобрели мы: в реальности цель отсутствует... Ты необходим, ты частица рока, ты принадлежишь к целому, существуешь в целом — нет ничего, что могло бы судить, мерить, сравнивать, осуждать наше бытие, ибо это значило бы судить, мерить, сравнивать, осуждать целое... Но нет ничего, кроме целого!
84. Понятие «Бог» было до сих пор сильнейшим возражением против бытия... Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность в Боге: этим впервые спасаем мы мир.
85. Моё требование к философам известно: надо становиться по ту сторону добра и зла, оставлять иллюзию морального суждения далеко внизу. Это требование вытекает из понимания, впервые сформулированного именно мною: что нет вовсе никаких моральных фактов. Моральное суждение имеет то общее с религиозным, что верит в реальности, не являющиеся таковыми. Мораль есть лишь истолкование известных феноменов, точнее говоря, ложное толкование. Моральное суждение, как и религиозное, относится к той ступени невежества, на которой ещё отсутствует само понятие реального, различие реального и воображаемого: так что слово «истина» на этой ступени служит обозначением исключительно того, что мы нынче называем «фантазиями». Поэтому моральное суждение никогда не следует принимать буквально: как таковое, оно содержит одну только нелепость. Однако оно остаётся неоценимым в качестве семиотики: оно открывает, по крайней мере сведущему, ценнейшие реальности культур и душевных миров, которые недостаточно знали, чтобы «понимать» самих себя. Мораль есть просто язык знаков, просто симптоматология:
86. Во все времена хотели «исправлять» людей: прежде всего это называлось моралью. Но за одним и тем же словом скрываются самые разнообразные тенденции. «Улучшением» называют как укрощение зверя «человека», так и разведение определённой породы человека: только с помощью этих зоологических termini [27] можно выразить реальности, — разумеется, такие реальности, о которых типичный «исправитель», священник, ничего не

знает, — не желает знать... Называть укрощение животного его «улучшением» — это звучит для наших ушей почти шуткой. Кто знает, что происходит в зверинцах, тот сомневается в том, чтобы зверя там «улучшали». Его ослабляют, делают менее опасным, из-за депрессивного аффекта страха, из-за боли, ран, голода он становится болезненным зверем. — Не иначе обстоит и с укрощённым человеком, которого «исправил» священник. В раннем средневековье, когда церковь действительно была прежде всего зверинцем, всюду охотились за прекраснейшими экземплярами «белокурых бестий», {50} — «исправляли», например, знатных германцев. Но как выглядел после этого такой «исправленный», завлечённый в монастырь германец? Как карикатура на человека, как выродец: он сделался «грешником», он сидел в клетке, его заперли в круг сплошных ужасных понятий... И вот он слёг, больной, жалкий, озлобленный на самого себя; полный ненависти к жизненным порывам, подозрений ко всему, что было ещё сильным и счастливым. Словом, «христианин»... Говоря физиологически: в борьбе со зверем разрушение его здоровья может быть единственным средством сделать его слабым. Церковь поняла это: она испортила человека, она ослабила его, — но она заявила претензию на то, что «исправила» его...

87. Возьмём другой случай так называемой морали — случай выведения определённой расы и породы. Грандиознейший пример этого даёт индийская мораль, санкционированная как религия в качестве «Закона Ману» {51}. Здесь поставлена задача выведения разом не менее четырёх рас: жреческой, воинской, торговой и земледельческой, и, наконец, расы слуг, шудр. Ясно, что здесь мы уже не среди укротителей зверей: чтобы разработать хотя бы только план подобной селекции, нужен во сто крат более мягкий и разумный вид человека. Вдыхаешь свободно, переходя из христианской атмосферы больниц и тюрем в этот более здоровый, высокий, просторный мир. Как убог «Новый Завет» по сравнению с Ману, как дурно он пахнет! — Однако и этой организации понадобилось быть устрашающей, — на сей раз в борьбе не с бестией, а с её антитезой, с беспородным человеком, с человеко-помесью, с чандалой. И опять-таки она не нашла другого средства сделать его безопасным, слабым, как сделав его больным, — это была борьба с «великим множеством».
88. Ср. выписки Ницше из Ренана в ПСС 13, 11 [405].
89. Христианство, имеющее иудейский корень и постижимое лишь как растение этой почвы, представляет собою противоход всякой морали отбора, расы, привилегии: это антиарийская религия *par excellence*; христианство — переоценка всех арийских ценностей, победа ценностей чандалы, проповедь Евангелия нищим и низкородным, всеобщее восстание всех попираемых, униженных, неудавшихся, пострадавших против «расы», — бессмертная месть чандалы как религия любви...
90. По тем средствам, которые мораль выведения породы и мораль укрощения применяют для достижения своих целей, они вполне стоят друг друга: мы вправе в качестве высшего постулата констатировать, что для создания морали нужно иметь безусловно волю к чему-то совершенно противоположному ей. Вот великая, жуткая проблема, которую я преследовал дольше всего: психология «исправителей» человечества. Маленький и, в сущности, скромный факт, факт так называемой *ria fraus* [28], дал мне первый подступ к этой проблеме: *ria fraus*, наследие всех философов и жрецов, которые «исправляли» человечество. Ни Ману, ни Платон, ни Конфуций, ни иудейские и христианские учителя никогда не сомневались в своём праве на ложь. Они не сомневались в совсем других правах... Формулируя это, можно сказать: все средства, с помощью которых человечество пытались до сих пор сделать нравственным, были совершенно безнравственны. {55}
91. Немцы скучают теперь от ума, немцы не доверяют теперь уму, политика поглощает всю серьёзность, нужную для действительно духовных вещей — «Deutschland, Deutschland über Alles» [29] {58}, я боюсь, что это стало концом немецкой философии... «Есть ли немецкие философы? есть ли немецкие поэты? есть ли хорошие немецкие книги?» — спрашивают меня за границей.
92. Чем мог бы быть немецкий ум, кто только не размышлял об этом с тоскою! Но этот народ самовольно одурял себя почти в течение тысячи лет: нигде так порочно не злоупотребляли двумя сильнейшими европейскими наркотиками — алкоголем и христианством. С недавних

- пор к ним прибавилось ещё и третье, которое одно уже способно доконать всякую тонкую и смелую духовную подвижность, — музыка, наша засорённая, засоряющая немецкая музыка.
93. Алкоголизм учёной молодёжи, быть может, ещё не ставит вопроса касательно их учёности — можно даже без всякого духа быть великим учёным, — но во всех других отношениях он остаётся проблемой.
  94. Я сказал о немецком уме, что он стал грубее, что он опошляется. Довольно ли этого? — В сущности, меня ужасает нечто совершенно другое: то, как всё более деградирует немецкая серьёзность, немецкая глубина, немецкая страстность в сфере духа. Изменился пафос, а не просто степень интеллектуальности. — Возьмём хотя бы немецкие университеты: что за атмосфера царит среди их учёных, какой бесплодный, какой невзыскательный и остывший дух! Предъявлять мне здесь в качестве возражения немецкую науку было бы глубоким недоразумением, да ещё и доказательством того, что человек не читал ни одного слова из моих сочинений. В течение семнадцати лет я неустанно указывал на обездушивающее влияние нашей теперешней индустрии науки. Суровое илотство, на которое нынче всякого осуждает чудовищный объём наук, является главной причиной того, что более одарённые, богатые, глубокие натуры уже не находят достойного их воспитания, а также воспитателей.
  95. Я всё ещё ищу немца, с которым я мог бы быть на свой лад серьёзен, — но во сто крат больше ищу такого, с которым я мог бы быть беззаботен! — Сумерки идолов: ах, кто бы понял нынче, от какой серьёзности отдыхает тут отшельник! — Беззаботность в нас самое непостижимое...
  96. В конечном счёте, никто не может дать больше, чем у него есть — это относится и к отдельным личностям, и к целым народам. Если растрачиваешь себя на власть, на большую политику, на экономику, международные отношения, парламентаризм, военные интересы, если отдаёшь имеющуюся в твоём распоряжении меру разумения, серьёзности, воли, самопреодоления на эту сторону, то для другой стороны у тебя этого уже не найдётся.
  97. Культура и государство — антагонисты, и не стоит обманываться на этот счёт: «культурное государство» есть просто современная идея. Одно питается другим, одно преуспевает за счёт другого. Все великие эпохи культуры суть эпохи политического упадка: что велико в смысле культуры, то было неполитичным, даже антиполитичным... {60} У Гёте сердце заходило от феномена Наполеона, — во время «войн за свободу» оно у него зашло... В то самое мгновение, как Германия выдвинулась в качестве великой державы, Франция приобрела новое значение в качестве державы культурной. Уже сейчас много новой серьёзности, много новой духовной страстности перекечвало в Париж; к примеру, вопрос пессимизма, вопрос Вагнера, почти все психологические и артистические вопросы трактуются там несравненно тоньше и основательнее, чем в Германии, — немцы даже не способны на серьёзность такого рода. — В истории европейской культуры возникновение «рейха» означает прежде всего одно: перенос центра тяжести. Везде уже знают: в главном — а им остаётся культура — немцы больше не принимаются в расчёт. Спрашивают: можете ли вы указать хоть на один имеющий европейское значение ум, каким был ваш Гёте, ваш Гегель, ваш Генрих Гейне, ваш Шопенгауэр? — То, что больше нет ни одного немецкого философа, вызывает бесконечное удивление. {61}
  98. Культура и государство ... антиполитичным... — один из черновых вариантов: «Сегодня государство претендует на то, чтобы высказываться в вопросах культуры и даже выступать в них судьёй, — как если бы государство не было лишь средством, и весьма подчинённым средством культуры! Сколько “немецких рейхов” можно было бы отдать за одного Гёте!»
  99. Словом “философ” злоупотребляют такие болтливые нули, как господин Бессознательный — Эдуард фон Гартман — или ядовито-желчные типы, вроде берлинского антисемита господина Е. Дюринга — среди приверженцев последнего совершенно нет пристойных людей, а среди приверженцев первого — пристойных “умов”».
  100. О том, что воспитание, образование (а не «империя») само есть цель, что для этой цели нужны воспитатели — а не учителя гимназий и университетские учёные — об этом забыли... Нужны воспитатели, которые сами воспитаны, {62} превосходящие других, аристократы духа, доказывающие это каждую минуту, доказывающие это и словом и молчанием, зрелые,

созревшие до сладости культуры, — а не учёные пентюхи, каких нынче в качестве «высших нянек» {63} преподносят юношеству гимназия и университет.

101. То, чего на деле достигают «высшие школы» Германии, есть зверская дрессировка с целью приготовить с минимальной затратой времени множество молодых людей на пользу и на расход государственной службе.
102. «Высшее воспитание» и множество — это изначально противоречит одно другому. Всякое высшее воспитание подобает лишь исключениям: нужно быть привилегированным, чтобы иметь право на такую высокую привилегию. Все великие, все прекрасные вещи никогда не смогут быть общим достоянием: *pulchrum est paucorum hominum* [30]. — Что обуславливает упадок немецкой культуры? Что «высшее воспитание» уже не является уделом избранных — демократизм «всеобщего», ставшего пошлым «образования»... Не следует забывать, что воинские льготы прямо-таки вынуждают слишком многих к посещению высших школ, т. е. способствуют их упадку.
103. прекрасное принадлежит немногим (лат.). Цитата из Горация.
104. все наши «высшие» школы с их учителями, учебными планами, учебными целями рассчитаны на самую двусмысленную посредственность. И всюду царит неприличная торопливость, точно будет что-нибудь упущено, если молодой человек в 23 года ещё не «готов», ещё не знает, что ответить на «главный вопрос»: к какой профессии он призван? — Высшая порода людей, с позволения сказать, не любит профессий, именно потому, что сознаёт себя призванной... У неё есть время, она не спешит, она вовсе не думает о своей «готовности», — в тридцать лет, в смысле высшей культуры, являешься начинающим, ребёнком.
105. Надо научиться смотреть, надо научиться мыслить, надо научиться говорить и писать: целью всех трёх является аристократическая культура.
106. Научиться смотреть — приучить глаз к покою, к терпению, к погружению-в-себя; откладывать вынесение суждения, научиться со всех сторон обходить и охватывать частный случай. Такова первая подготовка к духовному развитию: не реагировать тотчас же на раздражение, а приобрести тормозящие, запирающие инстинкты. Научиться смотреть, как я понимаю это, есть почти то же самое, что на нефилософском языке называется сильной волей: суть этого как раз в том, чтобы не «хотеть», быть в состоянии откладывать решение. Вся бездуховность, вся пошлость зиждется на неспособности сопротивляться раздражению, — на обязанности реагировать, следовать каждому импульсу. Во многих случаях такая обязанность является уже болезненностью, упадком, симптомом истощения, — почти всё, что нефилософское невежество называет именем «порока», есть просто та самая физиологическая неспособность не реагировать. — Применение выучки смотреть: делаешься, как учащийся вообще, медлительным, недоверчивым, сопротивляющимся. К чуждому, ко всякой разновидности нового приближаешься поначалу с враждебным спокойствием, — отдёргиваешь от него руку. Двери, открытые нараспашку, покорная простёртость на брюхе перед каждым маленьким фактом, постоянная готовность влезть, запрыгнуть в других и в другое, словом, прославленная современная «объективность» — это дурной вкус и неблагородство *par excellence*.
107. Научиться мыслить: в наших школах не имеют более никакого понятия об этом. Даже в университетах, даже среди настоящих знатоков философии логика как теория, как практика, как ремесло начинает вымирать.
108. Одно то, что немцы выдерживали своих философов, прежде всего этого скрюченного инвалида понятий, великого Канта, даёт уже немалое понятие о немецком изяществе.
109. В том-то и дело, что нельзя из аристократического воспитания исключать танцы во всех их формах, — умение танцевать ногами, понятиями, словами: стоит ли мне ещё говорить, что надо уметь танцевать и пером, — что нужно учиться писать?
110. Мои невозможные. — Сенека, или тореадор добродетели. — Руссо, или возвращение к природе *in impuris naturalibus* [31]. — Шиллер, или трубач морали из Экингена. {66} — Данте, или гиена, стихотворствующая в могилах. — Кант, или *sant* как интеллигибельный характер. — Виктор Гюго, или маяк у моря безумия. — Лист, или школа беглости — за

- женщинами. — Жорж Санд, или *lactea ubertas* [32] {67}, по-немецки: дойная корова с «прекрасным стилем». — Мишле, или вдохновение, снимающее сюртук. — Карлейль, или пессимизм, как вышедший назад обед. — Джон Стюарт Милль, или оскорбительная ясность. — *Les freres de Goncourt* [33], или два Аякса в борьбе с Гомером. Музыка Оффенбаха. — Золя, или «радость быть вонючим».
111. Ренан. — Теология, или испорченность разума «наследственным грехом» (христианство).
112. Сент-Бёв. — Ничего мужского; полон мелкой злобы ко всем мужественным умам. Слоняется, тонкий, любопытный, скучающий, подслушивающий, — в сущности особа женского пола, с женской мстительностью и женской чувственностью. Как психолог, гений *de la médisance* [36]; неистощимо богат подходящими для этого средствами; никто не умеет лучше его смешивать похвалу с ядом. Плебей в своих низших инстинктах, в родстве с ресентиментом Руссо: следовательно, романтик, — ибо под всяким *romantisme* хрюкает и рыщет инстинкт мести Руссо. Революционер, но ещё кое-как сдерживаемый страхом. Несвободный перед всем, что обладает силой (общественное мнение, академия, двор, даже Пор-Рояль). Озлобленный против всего великого в людях и вещах, против всего, что верит в себя. Ему ещё хватает поэтизма и половинчатой женскости, чтобы чувствовать мощь великого; но постоянно извивается, как пресловутый червь, потому что постоянно чувствует себя придавленным. Как критик лишён масштаба, опоры и хребта, с языком космополитического либертина для чего угодно, но без мужества хотя бы сознаться в *libertinage* [37]. Как историк нефилософичен, без властности философского взора, — поэтому во всех главных вещах увиливает от задачи судить, прикрываясь маской «объективности». Совсем иначе он ведёт себя по отношению ко всем тем вещам, где высшей инстанцией служит тонкий, изощрённый вкус: тут у него действительно появляется мужество быть собою, удовольствие быть собою, — тут он мастер. — С некоторых точек зрения это предтеча Бодлера. {72}
113. У этого святого такая манера говорить о любви, что даже у парижанок возбуждает любопытство.
114. Христианство есть система, сообразованное и цельное воззрение на вещи. Если из него выломаешь главное понятие, веру в Бога, то разрушаешь этим также и целое: ничего обязательного в руках больше не остаётся. Христианство предполагает, что человек не знает, не может знать, что для него добро и что зло: он верит в Бога, который один знает это. Христианская мораль есть повеление; её источник трансцендентен; она находится по ту сторону всякой критики, всякого права на критику; она истинна лишь в том случае, если Бог есть истина, — она держится и падает вместе с верой в Бога.
115. Жорж Санд. — Я читал первые *lettres d'un voyageur* {74}: они, как и всё, что ведёт своё происхождение от Руссо, фальшивы, деланны, напыщенны, утрированы. Я не выношу этого пёстрого коврового стиля, равно как и плебейской претензии на благородные чувства. Самым худшим, конечно, остаётся женское кокетничанье мужскими повадками, манерами невоспитанных юнцов. — Как холодна она должна была быть при всём этом, эта несносная художница! Она заводила себя, как часы, — и писала... {75} Холодная, как Гюго, как Бальзак, как все романтики, когда они сочиняли! И как самодовольно она, должно быть, при этом возлежала, эта плодовитая пишущая корова, в которой было нечто в худшем смысле немецкое (подобно самому Руссо, её учителю), и которую во всяком случае сделал возможным только упадок французского вкуса! — Но Ренан чтит её... {76}
116. Природа, если оценивать её артистически, вовсе не модель. Она преувеличивает, она искажает, она оставляет пробелы. Природа — это случай. Работа «с натуры» кажется мне дурным признаком: она выдаёт подчинённость, слабость, фатализм, — это падение ниц перед *petits faits* [40] недостойно цельного художника. Видеть то, что есть, присуще людям совсем иного рода, — антиартистическим, людям факта. Надо знать, кто ты такой...
117. К психологии художника. — Чтобы существовало искусство, чтобы существовало любое эстетическое деяние и созерцание, необходима одна физиологическая предпосылка — опьянённость. Опьянённость должна сперва усилить возбудимость всей машины: иначе до искусства дело не дойдёт. Движущей силой для этого обладают все виды опьянения, сколь

разнообразны ни были бы их причины: прежде всего опьянение полового возбуждения, эта древнейшая, исходная форма опьянения. Равным образом опьянение, являющееся следствием всяких страстных вожделений, сильных аффектов: опьянение празднеством, состязанием, бравурной пьесой, победой, любым резким возбуждением; опьянение жестокостью; опьянение духом разрушения; опьянение под влиянием известных метеорологических явлений, например, весеннее опьянение; или под влиянием наркотика; наконец, опьянение волей, опьянение накопившейся и вздувшейся, как вена, волевой энергией. — Существенным в опьянении является чувство возрастания сил и их избытка. Это чувство мы изливаем на вещи, мы принуждаем их брать от нас, мы насилуем их, — это явление называют идеализированием. Освободимся же тут от предрассудка: идеализирование не состоит, как обыкновенно думают, в сбрасывании со счётов или исключении незначительного, побочного. Скорее решающим является чудовищное выпячивание главных черт, так что другие при этом исчезают.

118. Эта обязанность превращать в совершенное есть искусство. Даже всё то, чем он не является, становится для него несмотря на это чистым наслаждением; в искусстве человек наслаждается собою, как совершенством.
119. И в самом деле, история богата такими антиартистами, такими заморышами жизни, которые неизбежно должны питаться вещами, обглаживать их, делать их более тощими. Таков, например, случай истого христианина, например Паскаля; христианина, который был бы вместе с тем и художником, встретить нельзя... Не следует с детской простотою приводить мне в ответ пример Рафаэля или каких-нибудь гомеопатических христиан девятнадцатого столетия: Рафаэль говорил «Да», Рафаэль делал «Да», следовательно, Рафаэль не был христианином...
120. Что означает введённая мною в эстетику антитеза аполлонического и дионисического, {80} если понимать их как виды опьянения? — Аполлоническое опьянение держит в состоянии возбуждения прежде всего глаз, так что он обретает способность к видениям. Живописец, пластик, эпический поэт — визионеры *par excellence*. В дионисическом состоянии, напротив, возбуждена и усилена вся система аффектов: так что она разом разряжает все свои средства выражения, выказывая одновременно силу изображения, подражания, преобразования, превращения, всякого вида мимику и актёрство.
121. Музыка, как мы её сегодня понимаем, есть как бы общее возбуждение и разрядка аффектов, и всё же это лишь остаток гораздо более полного мира выражений аффекта, лишь *residuum* [41] дионисического гистрионизма.
122. Актёр, мим, танцор, музыкант, лирик глубоко родственны по своим инстинктам и по сути являются одним целым, но постепенно они специализировались и отделились друг от друга — доходя даже до противоречия. Лирик долгие годы составлял одно целое с музыкантом, актёр с танцором.
123. Зодчий не представляет собою ни дионисического, ни аполлонического состояния: тут перед нами великий волевой акт, воля, сдвигающая горы, опьянение великой воли, жаждущей искусства. Зодчих всегда вдохновляли самые могущественные люди; зодчий всегда находился под внушением власти. В архитектурном произведении должна воплощаться гордость, победа над тяжестью, воля к власти; архитектура есть нечто вроде красноречия власти, вылившееся в формах, то убеждающего, даже льстящего, то исключительно повелевающего. Высшее чувство власти и уверенности выражается в тех вещах, которые обладают великим стилем. Власть, которой уже не нужны подтверждения; которая пренебрегает тем, чтобы нравиться; которая с трудом отвечает; которая не чувствует рядом с собой свидетелей; которая живёт без тени сознания того, что ей могут противоречить; которая покоится в себе, фаталистичная, закон из законов: вот что заявляет о себе как великий стиль.
124. Я читал жизнь Томаса Карлейля, этот невольный и не ведающий себя фарс, эту героико-моральную интерпретацию диспептических состояний. — Карлейль, человек решительных фраз и поз, ритор по неволе, которого постоянно возбуждает жажда сильной веры, а также чувство неспособности к ней (в этом он типичный романтик!). Жажда сильной веры не

доказывает ещё присутствия её, скорее напротив. Тот, кто имеет её, может позволить себе прекрасную роскошь скепсиса: для этого он достаточно уверен, достаточно твёрд, достаточно связан. Посредством *fortissimo* [42] своего преклонения перед людьми сильной веры и своей яростью по отношению к людям менее простодушным Карлейль старается что-то заглушить в себе: ему нужен шум. Постоянная страстная бесчестность по отношению к себе — это его *progrium* [43], этим он был и остаётся интересен. — Конечно, в Англии его чтут именно за его честность... Что ж, это по-английски; а принимая во внимание, что англичане представляют собою народ совершеннейшего *sant* [44], — не только понятно, но даже естественно. В сущности Карлейль — английский атеист, ищущий своей чести в том, чтобы не быть им.

125. Эмерсон. — Гораздо более просвещённый, увлекающийся, разносторонний, утончённый, нежели Карлейль, прежде всего более счастливый... Из тех, кто инстинктивно питается одной амброзией, оставляя нетронутым неудобоваримое в вещах. По сравнению с Карлейлем человек вкуса. — Карлейль, очень его любивший, тем не менее сказал о нём: «Того, что он даёт, нам не хватает на укус», — что, может быть, сказано справедливо, но не служит упрёком Эмерсону. — Эмерсон обладает той доброй и гениальной весёлостью, которая обезоруживает всякую серьёзность;
126. Шутливая парафраза стиха Овидия: «*Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas*» (Epist. ex Ponto III 4, 79). Ницше заменил овидиевское «*voluntas*» (желание) на «*voluptas*» (сладострастие).
127. Анти-Дарвин. — Что касается пресловутой «борьбы за существование», то она представляется мне скорее голословным утверждением, нежели чем-то доказанным. Она присутствует, но как исключение; суммарный аспект жизни — не нужда, не голод, а, напротив, богатство, изобилие, даже абсурдная расточительность, — там, где борются, борются за власть... Не следует путать Мальтуса с природой. — Но если предположить, что эта борьба существует — а она и в самом деле присутствует, — то исход её, к сожалению, обратен тому, которого хочет дарвинизм и которого мы были бы вправе желать вместе с ним, а именно: победа оказывается не на стороне сильных, привилегированных, счастливых исключений. Род растёт не в направлении совершенства: слабые снова и снова становятся господами над сильными, — это оттого, что их большинство и они умнее... Дарвин забыл про духовное (как это по-английски!), у слабых его больше... Чтобы стать богаче духом, надо в нём нуждаться, — его теряют, когда он более не нужен. Кто обладает силой, тот отказывается от духа
128. Парафраза концовки лютеровского хорала «Твердыня — наш Господь». У Лютера — также «*Reich*», но в значении «Царствие небесное».
129. Как видите, я понимаю под духом осторожность, терпение, хитрость, притворство, великое самообладание и всё, что является мимикрией (в разряд последней входит большая часть так называемой добродетели).
130. Казуистика психолога. — Вот знаток людей — для чего он собственно изучает их? Он хочет выудить себе маленькие преимущества перед ними или даже большие, — он политик!.. Вот тоже знаток людей — а вы говорите, что он не ищет в этом никакой выгоды для себя, что это великий «безличный». Вглядитесь пристальней! Быть может, он хочет даже ещё более недоброго преимущества — чувствовать себя выше людей, иметь право смотреть на них сверху вниз, больше уже не смешивать себя с ними. Этот «безличный» презирует людей, — а тот первый являет собой более гуманную *species* [48], что бы ни говорила внешность. Он по крайней мере становится вровень с ними, становится в их ряды...
131. Ничто не кажется мне более редким нынче, чем истое лицемерие. Сильно подозреваю, что этому растению не полезен мягкий воздух нашей культуры.
132. Без сомнения, нынче возможно гораздо большее число убеждений, чем прежде: возможно, т. е. дозволено, т. е. безвредно. Отсюда возникает терпимость по отношению к самим себе.
133. Чем сегодня можно себя скомпрометировать? Тем, что ты последователен. Тем, что идёшь по прямой. Тем, что в твоей многозначности «много» — это меньше пяти. [49] Тем, что честен...

134. Всё злое, обусловленное сильной волей, — а, быть может, нет ничего злого без силы воли — в нашем тёплом воздухе вырождается в добродетель...
135. Мерилом совершенства в прекрасном делает себя человек; в избранных случаях он поклоняется в этом себе. Род не может иначе, как таким вот образом, говорить «Да» себе и только себе. Самый глубинный его инстинкт, инстинкт самосохранения и самораспространения, проецирует себя даже на такие тонкие материи. Человек считает и самый мир наполненным красотой, — он забывает себя как её причину. Он один и одарил его красотой, — только вот красотой человеческой, слишком человеческой... В сущности, человек смотрится в вещи, он считает прекрасным всё, что отражает ему его образ: оценка «прекрасное» есть его родовое тщеславие... Во всяком случае скептику некоторое недоверие могло бы шепнуть на ухо: действительно ли мир украшает то, что именно человек считает его прекрасным? Он очеловечил его — вот и всё. Но ничто, решительно ничто не может быть порукой в том, что именно человек служит моделью прекрасного. Кто знает, как выглядит он в глазах высшего судьи вкуса? Быть может, спорно? Быть может, даже забавно? Быть может, немного своеобразно?..
136. Ничто не прекрасно, только человек прекрасен: на этой наивности зиждется вся эстетика, она её первая истина. Прибавим к ней сейчас же и вторую: ничто не безобразно, кроме вырождающегося человека, — этим очерчены границы эстетического суждения. — Если поверять физиологией, то всё безобразие ослабляет и огорчает человека. Оно напоминает ему о гибели, опасности, бессилии; он фактически теряет при этом силу. Действие безобразного можно измерять динамометром. Когда человек вообще подавлен, то он чувствует близость чего-то «безобразного». Его чувство могущества, его воля к власти, его мужество, его гордость — всё это умалывается вместе с безобразным и возрастает вместе с прекрасным... Как в том, так и в другом случае мы делаем одно заключение: предпосылки к этому в невиданном изобилии содержатся в инстинкте. Безобразное понимается как намёк на вырождение и его симптом: что хоть самым отдалённым образом напоминает о вырождении, то вызывает в нас суждение «безобразно». Каждый признак истощения, тяжести, старости, усталости, всякого вида несвобода, как судорога, паралич, прежде всего запах, цвет, форма разложения, тления, хотя бы даже в самом разреженном виде символа, — всё это вызывает одинаковую реакцию, всё это «безобразно». Ненависть рвётся здесь наружу — кого ненавидит тут человек? Но в этом нет никакого сомнения: упадок своего типа. Он ненавидит тут в силу глубочайшего инстинкта рода; в этой ненависти есть содрогание, осторожность, глубина, дальноркость, — это глубочайшая ненависть, какая только есть. В силу неё и искусство глубоко... {87}
137. Шопенгауэр, последний немец, идущий в счёт (ведь он — европейское явление подобно Гёте, подобно Гегелю, подобно Генриху Гёйне, а не только местное, «национальное»), — это случай первого ранга для психолога: а именно, как озлобленно гениальная попытка вывести в бой на стороне общего нигилистического обесценения жизни как раз противоположные инстанции, великие самоутверждения «воли к жизни», формы избытка жизни. Он истолковал как следствия «отрицания воли» или потребности воли в отрицании, одно за другим, искусство, героизм, гений, красоту, великое сочувствие, познание, волю к истине, трагедию — то была грандиознейшая психологическая подделка, с какой только встречалась мировая история, если, конечно, не считать христианства. Если взглянуть внимательнее, он является в этом лишь наследником христианской интерпретации: с той только разницей, что вдобавок смог одобрить отвергнутые христианством вещи, великие факты культуры человечества, — всё в том же христианском, т. е. нигилистическом, смысле (именно как пути к «спасению», как предформы «спасения», как *stimulantia* [50] потребности в «спасении»...).
138. Шопенгауэр говорит о красоте с меланхолическим пылом, — отчего бы так? Потому что он видит в ней мост, который ведёт дальше или возбуждает жажду идти дальше... Она на мгновения освобождает его от «воли» — и манит освободиться от неё навсегда... Особенно ценит он её, как освободительницу от «средоточия воли», от полового влечения, — в красоте он видит отрицание полового инстинкта... Удивительный святой! Кое-кто противоречит тебе, — боюсь, что природа. Для чего вообще существует красота звука, цвета, аромата, ритмического движения в природе? Что вызывает красота? — К счастью, ему противоречит

также один философ. Не кто иной, как божественный Платон (так называет его сам Шопенгауэр) поддерживает другое положение: что любая красота побуждает к зачатию, {88} — что это как раз *progrium* [51] её действия, начиная с самого чувственного и кончая высотами духа...

139. Платон идёт дальше. С невинностью, для которой нужно быть греком, а не «христианином», он говорит, что не было бы вовсе никакой платоновской философии, если бы в Афинах не было таких прекрасных юношей: их вид только и погружает душу философа в эротическое опьянение и не даёт ей покоя, пока она не бросит семя всего великого в такую прекрасную почву. {89} Тоже удивительный святой! — не веришь своим ушам, даже если предположить, что веришь Платону. По крайней мере понимаешь из этого, что в Афинах философствовали иначе, прежде всего публично.
140. Что выросло в итоге из этой философской эротики Платона? Новая художественная форма греческого *agon* [53], диалектика. — Напомню ещё, в пику Шопенгауэру и к чести Платона, что и вся высочайшая культура и литература классической Франции выросла на почве полового интереса. Там всюду можно искать галантность, чувства, состязание полов, «женщину», — эти поиски всякий раз увенчаются успехом...
141. *L'art pour l'art*. [54] — Борьба с целью в искусстве является всегда борьбой с морализирующей тенденцией в искусстве, с подчинением его морали. *L'art pour l'art* означает: «пусть мораль катится к чёрту!» — Но и эта вражда ещё указывает на засилье предрассудка. Если мы исключим из искусства цель моральной проповеди и улучшения человека, то из этого далеко ещё не следует, что искусство бесполезно, бесцельно, бессмысленно, словом, что оно *l'art pour l'art* — червь {91}, кусающий собственный хвост. «Лучше совсем никакой цели, чем моральная цель!» — так говорит голая страсть. Психолог, напротив, спрашивает: что делает всякое искусство? Не восхваляет ли оно? Не возвеличивает ли? Не выбирает ли? Не выделяет ли? Всем этим оно усиливает или ослабляет те или иные ценностные суждения... Есть ли это только побочное действие? Случайность? Нечто такое, в чём инстинкт художника не принимает совершенно никакого участия? Или наоборот: не предпосылка ли это того, на что способен художник..? Направлен ли самый глубинный его инстинкт на искусство или же, скорее, на смысл искусства, на жизнь? на желанность жизни? — Искусство есть великий стимул к жизни — как можно считать его бесцельным, *l'art pour l'art*?
142. — Остаётся один вопрос: ведь искусство изображает также много безобразного, сурового, проблематичного в жизни, — не стремится ли оно этим отбить охоту к жизни? — И в самом деле, были философы, придававшие ему такой смысл: Шопенгауэр учил, что «освобождение от воли» есть общая цель искусства, он видел великую пользу трагедии в том, что она «склоняет к резиньяции». — Но это, о чём я уже говорил, есть оптика пессимиста и «дурной глаз»: надо апеллировать к самим художникам. Что сообщает о себе трагический художник? Не демонстрирует ли он именно состояние бесстрашия перед страшным и сомнительным? — Само это состояние является в высшей степени желанным; кто знает его, тот знает ему цену и чтит его. Он сообщает это состояние другим, он должен его сообщать, при условии, что он художник, гений общности. Мужество и свобода чувства перед лицом мощного врага, великого бедствия, проблемы, вызывающей ужас, — вот то победоносное состояние, которое избирает трагический художник, которое он прославляет. Перед лицом трагедии воинственное в нашей душе празднует свои сатурналии; кто привык к страданию, кто ищет страдания, героический человек платит трагедией за своё существование, — ему одному даёт трагический поэт отведать напитка этой сладчайшей жестокости.
143. Быть невзыскательным к людям, держать открытым своё сердце — это либерально, это всего лишь либерально. Сердца, способные на аристократическое гостеприимство, узнаются по многим завешенным окнам и закрытым ставням: свои лучшие помещения они держат пустыми. Почему же? — Потому что они ждут гостей, к которым не бывают «невзыскательны»...
144. Если мы рассказываем о себе, значит мы не достаточно ценим себя. Наши подлинные переживания совершенно не болтливы. Они не могли бы рассказать о себе, если бы захотели.

Это оттого, что они лишены слова. Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили. Во всяком говорении есть гран презрения. Речь, по-видимому, изобретена для среднего, посредственного, сообщаемого. Ею говорящий сразу вульгаризируется. (Из морали для глухонемых и других философов).

145. я себя увижу, я себя прочту, я приду в восторг и скажу себе: ну разве я не кладезь остроумия? (фр.).
146. Сделаться индивидуальным — добродетель «безличного»...
147. Диалог с защиты докторской диссертации. — «В чём задача всякой высшей школы?» — Сделать из человека машину. — «Какими средствами?» — Он должен научиться скучать. — «Как этого добиться?» — С помощью понятия долга. — «Кто для него образец в этом отношении?» — Филолог: он учит зубрить. — «Кто является совершенным человеком?» — Государственный чиновник. — «Какая философия даёт высшую формулу для государственного чиновника?» — Философия Канта: государственный чиновник как вещь в себе, поставленный судьёю над государственным чиновником как явлением. —
148. Право на глупость. — Утомлённый и медленно переводящий дыхание работник, с добродушным взглядом, предоставляющий всему идти своим чередом: эта типичная фигура, которую ныне, в эпоху труда (а также «империи»!) можно встретить во всех слоях общества, заявляет теперь свои притязания на искусство, включая книги, прежде всего журналы, а ещё, в гораздо большей мере — на прекрасную природу, Италию... Вечерний человек с «уснувшими дикими порывами», о которых говорит Фауст, {97} нуждается в летней прохладе, в морских купаниях, в глетчерах, в Байройте... В такие эпохи искусство имеет право на чистую глупость, — как на своего рода каникулы ума, остроумия и эмоций. Это понял Вагнер. Чистая глупость [57] восстанавливает организм...
149. Меры, которыми Юлий Цезарь защищался от хворости и головной боли: изнурительные марши, самый простой образ жизни, непрерывное пребывание на свежем воздухе, постоянные нагрузки — это, вообще говоря, меры, чтобы поддержать и защитить от крайней ломкости ту тонкую и работающую под высочайшим давлением машину, которая называется гением.
150. Речь имморалиста. — Ничто так не претит вкусу философа, как человек желающий... Если он видит человека только за его делом, видит этого храбрейшего, хитрейшего, выносливейшего зверя пусть даже заблудившимся в лабиринте бедствий, то каким достойным изумления кажется ему человек! Он ещё поощряет его... Но желающего человека, а также человека «желаемого» — и вообще все желанности, все идеалы человека — философ презирает. Будь философ нигилистом, то он был бы им потому, что за всеми идеалами человека он находит Ничто. Или даже не Ничто, — а нечто недостойное, абсурдное, болезненное, трусливое, усталое, всякого вида подонки из выпитого кубка его жизни...
151. Что оправдывает человека, так это его реальность, — она будет оправдывать его вечно. Во сколько раз ценнее действительный человек по сравнению с каким-нибудь всего лишь желанным, выдуманным, высосанным из пальца, присочинённым человеком! с каким-нибудь идеальным человеком!.. Лишь идеальный человек не по вкусу философу.
152. Естественная ценность эгоизма. — Себялюбие ценно настолько же, насколько физиологически ценен его носитель: оно может быть чрезвычайно ценным, оно может быть никчёмным и презренным. На каждого можно смотреть с той точки зрения, представляет ли он восходящую или нисходящую ветвь жизни. Ответ на этот вопрос даёт и мерило того, чего стоит его себялюбие.
153. Если он представляет собою нисходящее развитие, упадок, хроническое вырождение, болезнь (болезни, вообще-то говоря, уже являются следствиями упадка, а не его причинами), то ценность его мала, и простая справедливость требует, чтобы он как можно меньше отнимал у удавшихся людей. Он же просто их паразит...
154. Христианин и анархист. — Если анархист, как глашатай опускающихся слоёв общества, требует с красивым негодованием «права», «справедливости», «равных прав», то он находится при этом лишь под давлением своей некультурности, которая не может постичь,

почему он собственно страдает, чем он беден, — а беден он жизнью... В нём сильна потребность в причине: кто-нибудь должен быть виновен в том, что ему плохо... Да и само «красивое негодование» уже действует на него благотворно; браниться — это удовольствие для всех бедняков, — это даёт маленькое опьянение властью. Уже жалоба, сетование может сообщить жизни привлекательность, ради которой её выносят: маленькая доза мести есть в каждой жалобе; за своё скверное положение, а иногда даже за свою дрянность упрекают тех, у кого дело обстоит иначе, — как за несправедливость, как за недозволенное преимущество. «Если я *canaille*, то и ты, должно быть, тоже»: на основании этой логики делают революцию.

155. Сетование во всяком случае ничего не стоит: оно проистекает из слабости. Возлагают ли ответственность за своё незавидное положение на других или на самих себя — первое делает социалист, второе, к примеру, христианин, — в этом, собственно, нет никакой разницы. Общее, скажем также, недостойное в этом то, что некто должен быть виновным в том, что страдаешь, — словом, что страдающий прописывает себе как средство от своего страдания мёд мести. Объектами этой потребности в мести, как потребности в удовольствии, являются случайные причины: страдающий всюду находит причины вымещать свою маленькую мстительность, — если он христианин, то, повторяю, он находит их в себе... Христианин и анархист — оба суть *décadents*. — Но когда христианин осуждает «мир», клеветает на него, чернит его, то он делает это в силу того же инстинкта, в силу которого рабочий-социалист осуждает общество, клеветает на него, чернит его: сам «страшный суд» есть сладчайшее утешение мести — революция, какой ожидает и рабочий-социалист, только несколько более отдалённая... Да и «тот мир» — для чего тот мир, если бы он не был средством чернить этот?..
156. Критика морали *décadence*. — «Альтруистическая» мораль, мораль, при которой чахнет себялюбие, — остаётся в любых обстоятельствах дурным признаком. Это относится к индивидууму, это же относится и к народам. Когда начинает не хватать себялюбия, то, значит, не хватает самого лучшего. Инстинктивно выбирать вредное себе, прельщаться «бескорыстными» побуждениями — это почти формула для *décadence*. «Не искать своей пользы» — это просто моральный фиговый лист для совсем другой, а именно — физиологической действительности: «я больше не умею найти своей пользы»... Ослабление инстинктов! — С человеком покончено, если он становится альтруистом. — Вместо того, чтобы наивно сказать: «я больше ничего не стою», моральная ложь в устах *décadent* говорит: «нет ничего ценного, — жизнь ничего не стоит»... Такое суждение в конце концов грозит большой опасностью, оно действует заразительно, — на гнилой почве общества оно разрастается вскоре в тропическую растительность понятий, то в виде религии (христианство), то в виде философии (шопенгауэрианство). Иногда такой выросший из гнили ядовитый куст отравляет своим дыханием саму жизнь на тысячелетия вперёд...
157. Мораль для врачей. — Больной — паразит общества. В известных случаях неприлично продолжать жить. Дальнейшее прозябание в трусливой зависимости от врачей и искусственных мер, после того как потерял смысл жизни, право на жизнь, должно бы вызывать глубокое презрение общества. Врачам же следовало бы быть посредниками в этом презрении, — выписывать не рецепты, а каждый день новую дозу отвращения своему пациенту... Создать новую ответственность, ответственность врача, для всех случаев, где высший интерес жизни, восходящей жизни, требует беспощадного подавления и устранения вырождающейся жизни — например, для права на зачатие, для права быть рождённым, для права жить... Гордо умереть, если уже больше нет возможности гордо жить. Смерть, выбранная добровольно, смерть вовремя, светлая и радостная, принимаемая среди детей и свидетелей: так что ещё возможно настоящее прощание, когда тот, кто прощается, ещё здесь, с нами, а равным образом действительная оценка достигнутого и того, чего желал, подведение итога жизни — всё это в противовес той жалкой и ужасающей комедии, которую делало из смертного часа христианство. Никогда не следует забывать христианству того, что оно злоупотребляло слабостью умирающего для насильования совести, а обстоятельствами самой смерти — для оценки человека и его прошлого! — Здесь следует, наперекор всем трусостям предрассудка, прежде всего восстановить правильную, т. е. физиологическую

оценку так называемой естественной смерти, — которая в конечном счёте также является всего лишь «неестественной», самоубийством. Человек погибает не от чего иного, как от самого себя. Только это — смерть, наступающая в презреннейших условиях, несвободная смерть, несвоевременная смерть, смерть труса. Из любви к жизни следовало бы желать иной смерти, — свободной, сознательной, без случайности, без неожиданности... Наконец, дам совет господам пессимистам и другим *décadents*. Не в наших силах воспрепятствовать нашему рождению: но эту ошибку — ибо порою это ошибка — мы можем исправить. Устраняя себя, делаешь достойное величайшего уважения дело: этим почти заслуживаешь право жить... Общество, что я говорю! сама жизнь получает от этого большую выгоду, чем от какой-нибудь «жизни» в отречении, бледной немочи и прочих добродетелях, — освобождает других от того, чтобы тебя лицедреть, освобождает жизнь от лишнего довода против неё...

158. Пессимизм, *pur, vert* [59], доказывается только самоопровержением господ пессимистов: надо сделать ещё один шаг в его логике, отрицать жизнь не только «волей и представлением», как это делал Шопенгауэр, — надо прежде всего отрицать Шопенгауэра... Пессимизм, кстати сказать, как он ни заразителен, тем не менее в целом не усиливает болезненность эпохи, поколения, — он просто является её выражением. Им заболевают, как заболевают холерой: для этого уже надо быть достаточно хилым. Сам пессимизм не производит на свет ни одного нового *décadent*; напомним статистический вывод, что годы, в которые свирепствует холера, не отличаются общим числом смертных случаев от других лет.
159. Мы, современные люди, очень нежные, очень ранимые и сотни раз уступающие и принимающие уступки, в самом деле воображаем, что эта нежная человечность, которую мы собою являем, это достигнутое единодушие в милосердии, в готовности помочь, во взаимном доверии есть позитивный прогресс, что в этом отношении мы далеко опередили Ренессанс. Но так думает каждая эпоха, так должна она думать.
160. (сама по себе никакая мораль ценности не имеет),
161. С другой стороны, не будем сомневаться в том, что мы, современные люди, плотно укутанные в нашу гуманность, как в вату, ибо ни за что не желаем ушибиться о камни, показались бы современникам Чезаре Борджа уморительной комедией.
162. Ослабление инстинктов вражды и недоверия — а ведь в этом и состоит наш «прогресс» — представляет собою лишь одно из следствий общего ослабления витальности: требуется во сто раз больше труда, больше осторожности, чтобы поддерживать столь нагруженное условиями, столь позднее существование. Тут все взаимно помогают друг другу, тут каждый до известной степени больной и в то же время санитар. Это называется «добродетелью» — люди, знавшие другую жизнь, более полную, расточительную, бьющую через край, назвали бы это иначе, быть может, «трусостью», «ничтожеством», «старушечьей моралью»... Наше смягчение нравов (это мой постулат и, если угодно, моё нововведение) есть следствие упадка; суровость и ужасность нравов может, наоборот, быть следствием избытка жизни. Ведь только при избытке жизни могут на многое отваживаться, многого требовать, а также много расточать.
163. Для того, чтобы быть индифферентными — а это тоже известная форма силы — мы также слишком стары, пришли слишком поздно: наша мораль сочувствия, от которой я первый предостерегал и которую можно было бы назвать *l'impressionisme morale*, есть лишь ещё одно выражение чрезмерной физиологической раздражимости, свойственной всему декадентскому.
164. Сильные эпохи, аристократические культуры видят в сострадании, в «любви к ближнему», в недостатке самости и чувства собственного достоинства нечто презренное.
165. О временах следует судить по их позитивным силам — и при этом выходит, что столь расточительная и роковая эпоха Ренессанса была последней великой эпохой, а мы, современные люди, с нашей боязливой заботой о себе и любовью к ближнему, с нашими добродетелями труда, непритязательности, законности, научности — накапливающие, экономные, подобные машинам — воплощаем слабую эпоху...

166. «Равенство», известное фактическое уподобление, которое проявляется только лишь в теории о «равных правах», по сути — примета упадка: пропасть между человеком и человеком, сословием и сословием, многообразие типов, воля быть собой, выделяться среди других, — то, что я называю пафосом дистанции, свойственно каждой мощной эпохе. Сила напряжения, расстояние между полюсами, крайностями ныне всё уменьшается, — сами крайности в конечном счёте сглаживаются до полной тождественности...
167. Наши социалисты суть *décadents*, но и господин Герберт Спенсер тоже *décadent* — он видит нечто желательное в победе альтруизма!..
168. Моё понятие свободы. — Ценность вещи заключается иногда не в том, что с помощью её достигают, а в том, что за неё заплатили, — чего она нам стоит. Приведу пример. Либеральные институты тотчас же перестают быть либеральными, как только они созданы: после этого нет худших и более радикальных врагов свободы, чем либеральные институты. Ведь известно, к чему они приводят: они подводят мины под волю к власти, они служат возведённой в ранг морали нивелировкой гор и долин, они делают людей мелкими, трусливыми и похотливыми, — они являют всякий раз триумф стадного животного. Либерализм: в переводе — обращение в стадных животных... И те же самые институты, пока за них ещё борются, оказывают совсем другое действие; тогда они действительно мощно споспешествуют свободе. Говоря точнее, это действие производит война, война за либеральные институты, которая, как всякая война, поддерживает существование нелиберальных инстинктов. И война воспитывает к свободе.
169. Ибо что такое свобода, как не воля к ответственности за самого себя; как не сохранение дистанции, которая нас разделяет; как не равнодушие к тяготам, суровым лишениям, даже к жизни; как не готовность жертвовать за своё дело людьми, не исключая и самого себя?
170. Свобода означает, что мужественные, воинственные и победоносные инстинкты господствуют над другими инстинктами, например над инстинктом «счастья».
171. Освободившийся человек, тем более освободившийся ум, попирает ногами всё то презренное благоденствие, о котором мечтают мелочные лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и прочие демократы. Свободный человек — воин.
172. Народы, имевшие какую-либо ценность, ставшие ценными, никогда не делались таковыми под влиянием либеральных институтов: великая опасность делала из них нечто заслуживающее уважения, — опасность, которая впервые знакомит нас с нашими средствами помощи, нашими добродетелями, с нашим оружием, с нашим духом, которая принуждает нас быть сильными...
173. Первый принцип: надо, чтобы тебе пришлось быть сильным — иначе никогда им не будешь.
174. Критика современности. — Наши институты уже ни на что не годятся — в этом все единодушны. Но виной тому не они, а мы. После того как мы лишились всех инстинктов, из которых вырастают институты, мы лишились и всех институтов, поскольку мы уже негодны для них. Демократизм во все времена был упадочной формой организующей силы:
175. Чтобы существовали институты, должна присутствовать известная воля, инстинкт, императив, антилиберальный до ярости: воля к традиции, к авторитету, к ответственности на столетия вперёд, к солидарности прошлых и будущих поколений *in infinitum* [60]. Если эта воля налицо, то основывается нечто подобное *imperium Romanum*; или подобное России, единственной державе, у которой сегодня есть будущность, которая может ждать, которая ещё может что-то обещать, — России, антониму жалкого европейского партикуляризма и нервозности, вступившей вместе с основанием Германского рейха в критическую стадию...
176. Живут для сегодняшнего дня, живут слишком быстро, — живут слишком безответственно: именно это называют «свободой». То, что делает институты институтами, презираемо, ненавидимо, всего этого избегают; воображают опасность нового рабства там, где лишь раздаётся слово «авторитет».
177. Разумность брака заключалась в юридической, исключительно на муже лежащей ответственности: это давало браку устойчивость, тогда как нынче он хромает на обе ноги. Разумность брака заключалась в его принципиальной нерасторжимости: это придавало ему такой тон, который, наперекор случайному чувству, страсти и мгновению, умел заставлять

прислушиваться к себе. Она заключалась равным образом в ответственности семей за выбор супругов. Возрастающей снисходительностью к бракам по любви устраняется именно основа брака, то, что только и делает из него институт. Институт никогда не основывают на идиосинкразии, брак, как сказано, не основывают на «любви», — его основывают на половом инстинкте, на инстинкте собственности (жена и ребёнок как собственность), на инстинкте господства, который постоянно организует себе самую маленькую ячейку господства, семью, которому нужны дети и наследники, чтобы удержать также и физиологически достигнутую меру власти, влияния, богатства, чтобы надолго готовить задачи будущему, инстинктивную солидарность столетий друг с другом.

178. Современный брак потерял свой смысл, — следовательно, его упразднят.
179. Рабочего сделали воинственным, ему дали право на союзы, политическое право голоса: что же удивительного, если рабочий ощущает нынче своё существование уже как бедственное (выражаясь морально, как несправедливость)? Но чего хотят? спрашиваю ещё раз. Если хотят цели, то должны хотеть и средств: если хотят рабов, то надо быть дураками, чтобы воспитывать их для господства.
180. Когда вера оказывается полезнее, эффективнее, убедительнее, чем сознательное лицемерие, то лицемерие инстинктивно превращается тотчас же в невинность: первое правило для понимания великих святых. То же и у философов, у другого вида святых, вся суть их ремесла в том, что они допускают лишь известные истины, — а именно такие, на которые их ремесло имеет общественную санкцию, — говоря по-кантовски, истины практического разума. Они знают, что они должны доказывать, в этом они практичны, — они узнают друг друга по тому, что они сходятся во взглядах на «истины».
181. На ухо консерваторам. — Чего раньше не знали, и что знают, могли бы знать теперь, — развитие в обратную сторону, возврат в каком бы то ни было смысле и степени совершенно невозможен. По крайней мере мы, физиологи, знаем это. Но все жрецы и моралисты верили в нечто подобное, — они хотели вернуть, ввернуть человечество в прежнюю меру добродетели. Мораль всегда была прокрустовым ложем. Даже политики подражали в этом проповедникам добродетели; ещё и нынче есть партии, мечтающие как о цели, чтобы все вещи стали пятиться раком. Но никто не волен быть раком. Ничего не поделаешь: надо идти вперёд, хочу сказать, шаг за шагом дальше в *décadence* (вот моё определение современного «прогресса»)...
182. Моё понятие гения. — Великие люди, как и великие времена, суть взрывчатые вещества, в которых накоплена огромная сила; их предусловием, исторически и физиологически, всегда является то, что на них долго собиралось, накапливалось, сберегалось и сохранялось, {103} — что подолгу не происходило никаких взрывов. Если напряжение в массах становится слишком велико, то достаточно самого случайного раздражения, чтобы вызвать к жизни «гения», «деяние», великую судьбу.
183. Великие люди необходимы, время же их появления случайно; и причина того, что они почти всегда делаются господами над ним, кроется только в том, что они сильнее, старше, что история долго накапливала их. Между гением и его временем такое же отношение, как между сильным и слабым, а также как между старым и молодым: причём время в этом соотношении всегда гораздо моложе, слабее, незрелее, неуверенней, ребячливей.
184. В великих людях и временах заложена чрезвычайная опасность; всевозможное истощение, бесплодие следуют за ними по пятам. Великий человек — это конец; великое время, Ренессанс например, — это конец. Гений неизбежно оказывается расточителем — в творчестве, в поступках: его величие в том, что он расходует себя... Инстинкт самосохранения словно отброшен; сокрушительный натиск рвущихся наружу сил воспрещает ему всякую такую заботу и осторожность. Это называют «самопожертвованием»; восхваляют в этом его «героизм», его равнодушие к собственному благу, его преданность идее, великому делу, отечеству — а ведь всё это сплошь недоразумения... Он изливается, он льётся через край, он расходует себя, он не щадит себя, — с фатальностью, роковым образом, невольно, как невольно выступает река из своих берегов. Но поскольку таким взрывчатым натурам человечество многим обязано, то за это оно их также и одаряет многим, например:

некой высшей моралью... Такова людская благодарность: она неверно истолковывает своих благодетелей.

185. Преступник и то, что ему сродни. — Тип преступника — это тип сильного человека в неблагоприятных условиях, это сильный человек, которого сделали больным. Ему недостаёт джунглей, более свободной и опасной природы и формы бытия, в которой всё, являющееся оружием и защитой в инстинкте сильного человека, существует по праву. Его добродетели преследуются обществом; его живейшие инстинкты, которые он приносит с собою, срastaются тотчас же с угнетающими аффектами, с подозрением, страхом, бесчестием. Но это уже почти рецепт физиологического вырождения. Тот, кто принуждён делать втайне, с постоянным напряжением, осторожностью, хитростью делать то, что он лучше всего может и больше всего любит, становится анемичным; и так как он постоянно пожинает от своих инстинктов лишь опасность, преследование, роковые последствия, то изменяется и его чувство по отношению к этим инстинктам — он чувствует их фатальными. Таково наше общество, наше приручённое, посредственное, оскопленное общество, что в нём сын природы, пришедший к нам с гор или из морских авантюр, неизбежно вырождается в преступника. Неизбежно или почти неизбежно: ибо бывают случаи, когда такой человек оказывается сильнее общества, самый знаменитый тому пример — корсиканец Наполеон. Для проблемы, являющейся перед нами здесь, важно свидетельство Достоевского — единственного, кстати говоря, психолога, у которого я смог кое-чему научиться: он относится к числу самых счастливых случаев моей жизни, даже ещё более, чем открытие Стендаля. Этот глубокий человек, который был десять раз вправе презирать поверхностных немцев, увидел в сибирских каторжниках, в среде которых он долго жил, (а это были сплошь тяжкие преступники, для которых уже не было возврата в общество) совсем иное, чем сам ожидал, — людей словно выточенных из самого лучшего, твёрдого и ценного дерева, какое только растёт на русской земле.
186. Обобщим случай преступника: представим себе натуры, которые по какой-либо причине лишены общественного сочувствия, которые знают, что не будут признаны благодетельными, полезными, — чувство чандалы, что считаешься не равным, а отверженным, недостойным, марающим. Мысли и поступки таких натур имеют окраску чего-то подпольного; у них всё становится бледнее, чем у тех, кто живёт при свете дня. Однако почти все формы существования, ныне почитаемые нами выдающимися, дышали некогда этим наполовину могильным воздухом: человек науки, артист, гений, вольнодумец, актёр, купец, первооткрыватель... Любой ценный вид человека оставался обесценен, покуда высшим типом считался жрец... Придёт пора — даю слово, — когда он будет считаться низшим, нашим чандалой, самой лживой, самой непристойной разновидностью человека...
187. Обращаю внимание на то, как даже сейчас, в условиях самого мягкого господства обычаев, какое когда-либо имело место на земле, по крайней мере в Европе, всякая нелюдимая особенность, всякая долгая, затянувшаяся подспудность существования или же непривычная, непрозрачная его форма приближает к тому типу, который обретает завершённость в преступнике.
188. Почти каждому гению знакомо, как одна из стадий его развития, «существование Катилины», — чувство ненависти, мести и бунта против всего, что уже есть, что больше не становится... Катилина — форма предсуществования всякого Цезаря.
189. Здесь вид свободный вдаль. {105} — Когда философ молчит, это может быть величием души; когда он противоречит себе, это может быть любовью; возможна вежливость познающего, которая лжёт.
190. Красота — не случайность. — Красота расы или семьи, их изящество и мягкость во всех жестах тоже вырабатываются: они, подобно гению, есть конечный результат накопленной работы поколений. Надо, чтобы были принесены большие жертвы хорошему вкусу, надо, чтобы ради него многое делали, а также от многого отказывались.
191. Высшее правило: нельзя «распускаться» даже перед самим собою.

192. Всё хорошее чрезвычайно дорого обходится; закон на все времена: обладающий и приобретающий — совершенно разные существа. Всё хорошее есть наследство: что не унаследовано, то несовершенно, всего лишь начинание...
193. Тут надо именно не промахнуться насчёт методики: голая дисциплина чувств и мыслей даёт почти что ноль (в этом заключается великое недоразумение немецкого образования, которое представляет из себя одну иллюзию) — сперва надо убедить тело. Строгое соблюдение значительных и избранных жестов, обязанность жить лишь с такими людьми, которые не «распускаются», совершенно достаточны для того, чтобы самому стать значительным и избранным: через два-три поколения всё это уже усваивается на ментальном уровне. Для жребия народа и человечества решающее значение имеет исходная точка их культуры: она должна начинаться не с души (что составляло роковое суеверие жрецов и полужрецов), а с тела, жестов, диеты, физиологии, — остальное вытекает отсюда... Поэтому греки остались первым культурным событием в истории — они знали, они делали то, что нужно; христианство, презиравшее тело, было до сих пор величайшим несчастьем человечества.
194. Прогресс в моём смысле. — Я тоже говорю о «возвращении к природе», хотя это собственно не движение вспять, а восхождение — вверх, в горную, свободную, даже страшную природу и естественность, в такую, которая играет, смеет играть великими задачами...
195. Если говорить аллегорически: Наполеон был образцом «возвращения к природе», как я его понимаю
196. Руссо, этот первый современный человек, идеалист и *canaille* в одном лице, которому нужно было нравственное «достоинство», чтобы выносить собственный вид; больной необузданным тщеславием и необузданным презрением к себе. Этот выродок, устроившийся у порога нового времени, тоже хотел «возвращения к природе» — куда, спрашиваю я ещё раз, хотел вернуться Руссо? Я ненавижу Руссо ещё и в революции: она есть всемирно-историческое выражение для этой двойственности идеалиста и *canaille*.
197. Кровавый фарс, в который вылилась эта революция, её «имморальность», мало трогают меня: что я ненавижу, так это её руссоистскую нравственность — так называемые «истины» революции, которые всё ещё не утратили влияния и привлекают к ней всё плоское и посредственное. Учение о равенстве!.. Но нет более ядовитого яда, ибо кажется, что здесь идёт проповедь самой справедливости, тогда как на самом деле это — конец справедливости... «Равным равное, неравным неравное» {107} — вот что было бы истинной речью справедливости — «и, как отсюда следует, никогда нельзя делать равным неравное».
198. То, что из этого учения о равенстве вылилось столько ужасов и крови, придало названной «современной идее» *par excellence* нечто вроде огненного блеска и ореола, отчего революция и совратила, как зрелище, даже благороднейшие умы. Но это, в конце концов, не основание продолжать чтить её. — Я вижу лишь одного, кто относился к ней так, как она этого заслуживала, с отвращением, — Гёте...
199. Гёте — явление не немецкое, а европейское: грандиозная попытка победить восемнадцатый век возвращением к природе, восхождением к естественности Ренессанса, нечто вроде самопреодоления этого века. — Он носил в себе его сильнейшие инстинкты: {109} чувствительность, поклонение природе, антиисторический, идеалистический, нереалистический, революционный инстинкты (последний есть лишь некая форма нереального). Он брал себе в помощь историю, естествознание, древность, а равным образом и Спинозу, и прежде всего — практическую деятельность; он обставил себя сплошь замкнутыми горизонтами; он не отстранялся от жизни, а вовлекался в неё; он не был робким и брал, сколько возможно, на себя, сверх себя, в себя. Чего он хотел, так это цельности; он боролся с рознью разума, чувственности, чувства, воли (рознью, которую в ужасающей схоластике проповедовал Кант, антипод Гёте), он дисциплинировал себя в нечто цельное, он создал себя...
200. Гёте создал сильного, высокообразованного, во всех отношениях физически ловкого, держащего себя в узде, глубоко уважающего самого себя человека, который может отважиться на всю полноту и богатство естественности, который достаточно силён для этой свободы; человека, обладающего терпимостью не вследствие слабости, а вследствие силы,

- потому что он умеет использовать к своей выгоде даже то, от чего погибла бы посредственная натура; человека, для которого больше нет ничего запретного, разве что слабость, всё равно, называется она пороком или добродетелью...
201. Но это значит не понимать великих людей, если смотреть на них с жалкой точки зрения общественной пользы. Что из них не умеют извлечь никакой пользы, возможно, есть даже признак их величия...
202. Гёте — последний немец, к которому я отношусь с почтением: он, по-видимому, чувствовал три вещи, которые чувствую я, — мы сходимся также и насчёт «креста»...
203. Меня нередко спрашивают, для чего я, собственно, пишу по-немецки: нигде не читают меня хуже, чем в отечестве. Но кто знает в конце концов, да желаю ли я вообще, чтобы меня читали в наши дни? — Создавать вещи, на которых время будет понапрасну пробовать свои зубы; в форме, в субстанции домогаться маленького бессмертия — я никогда не был достаточно скромнен, чтобы требовать от себя меньшего. Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь мастером, суть формы «вечности»; моё честолюбие заключается в том, чтобы сказать в десяти предложениях то, для чего любому другому понадобилась бы целая книга, — и чего он и в целой книге не сказал бы... Я дал человечеству самую глубокую книгу, какую оно обладает, моего Заратустру: в скором времени я дам ему самую независимую.
204. В заключение несколько слов о том мире, подходы к которому я искал и к которому я, быть может, нашёл новый подход, — о мире античности. Мой вкус, являющий собой, должно быть, противоположность снисходительного вкуса, и здесь далёк от того, чтобы всему без разбора говорить Да: он вообще неохотно говорит Да, охотнее Нет, а больше всего предпочитает ничего не говорить... Это относится к целым культурам, это относится к книгам, — это относится также к местностям и ландшафтам. В сущности, совсем небольшое число античных книг участвовало в моей жизни, причём знаменитейших нет в их числе. Моё чувство стиля, эпиграммы как стиля, пробудилось почти моментально при соприкосновении с Саллюстием. Не могу забыть изумления моего уважаемого учителя Корссена, когда он вынужден был поставить высшую отметку своему худшему латинисту, — я разом разделался с этой задачей. Сжатый, строгий, предельно насыщенный субстанцией, с холодной язвительностью к «красивому слову», а также к «красивому чувству» — в этом я открыл себя. Всюду вплоть до моего Заратустры у меня опознают очень серьёзное притязание на римский стиль, на «aere perennius» [65] в стиле. — Не иначе было со мною и при первом соприкосновении с Горацием. До сих пор ни один поэт не дарил мне такого артистического восхищения, в какое меня с самого начала приводила ода Горация. В некоторых языках нельзя даже пожелать того, что здесь достигнуто. Эта мозаика слов, где каждое слово, как звук, как пятно, как понятие, изливает свою силу направо и налево, а также на всё целое, этот *minimum* объёма и числа знаков и достигаемый таким путём *maximum* энергии знаков — всё это римское и, верьте мне, аристократично *par excellence*. Вся остальная поэзия является по сравнению с этим чем-то слишком популярным, — просто болтливостью чувств...
205. Грекам я вовсе не обязан подобными по силе впечатлениями; и, если уж сказать прямо, они не могут быть для нас тем, чем являются римляне. У греков нельзя научиться — их своеобразие слишком чуждо нам, оно также слишком текуче, чтобы действовать императивно, «классически». Кто бы мог научиться у грека писать! И кто бы мог научиться этому без римлян!..
206. Платон скучен. — Наконец, моё недоверие к Платону идёт вглубь: я нахожу его настолько отклонившимся от всех основных инстинктов эллинов, настолько пропитанным моралью, настолько воплощённым предхристианином — у него уже понятие «добрый» является высшим понятием, — что я скорее, чем какое-либо иное слово, применил бы ко всему феномену Платона суровое слово «высшее шарлатанство» или, если это приятнее слышать, идеализм.
207. «кресту»... И сколько Платона ещё в понятии «церковь», в строе, системе, практике церкви!
208. Ничто не излечивает так радикально, как Фукидид, от жалкого размалёвывания греков в идеал, которое «классически образованный» юноша уносит с собою в жизнь, как награду за

свою гимназическую дрессуру. Надо строка за строкой выворачивать его, чтобы так же отчётливо, как его слова, читать его задние мысли: мало найдётся мыслителей, столь богатых задними мыслями. В нём культура софистов, я хотел сказать культура реалистов — это неопределимое по своей важности движение среди повсюду прорывающегося нравственно-идеалистического шарлатанства сократических школ, — получает своё законченное выражение.

209. Такие натуры, как Фукидид и Платон, различаются в конечном счёте своим мужеством перед реальностью: Платон — трус перед реальностью, следовательно, он ищет убежища в идеале; Фукидид владеет собою, следовательно, он сохраняет также и власть над вещами...
210. Необходимость заставляла быть сильными: опасность была близка, — она подстерегала всюду. Великолепно развитое тело, смелый реализм и имморализм, свойственный эллину, был нуждой, а не «природой». Он был лишь следствием, он не существовал с самого начала.
211. Судить о греках на немецкий манер по их философам, пользоваться простодушием сократических школ для объяснения того, что такое в сущности эллинское!.. Ведь философы — *décadents* эллинства, восстание против старого, аристократического вкуса (против агонального инстинкта, против полиса, против ценности расы, против авторитета традиции). Проповедь сократовских добродетелей взялась оттого, что они пропали у греков:
212. Я был первым, кто, для уразумения более древнего, ещё богатого и даже бьющего через край эллинского инстинкта, отнёсся всерьёз к тому удивительному феномену, который носит имя Диониса: он объясним единственно избытком силы.
213. В библиотеке Ницше сохранился экземпляр с большим количеством сделанных им пометок, касающихся как дионисических мистерий, так и критики христианства со стороны античных авторов.
214. этого Лобека ни на мгновение нельзя принимать всерьёз. Совершенно иное впечатление получим мы, если исследуем понятие «греческого», которое составили себе Винкельман и Гёте, и найдём его несовместимым с той стихией, из которой вырастает дионисическое искусство, — с оргиазмом. Я на самом деле не сомневаюсь в том, что Гёте в принципе исключал нечто подобное из возможностей греческой души. Следовательно, Гёте не понимал греков. Ибо лишь в дионисических Мистериях, в психологии дионисического состояния выражает себя основной факт эллинского инстинкта — его «воля к жизни».
215. Что обеспечивал себе эллин этими мистериями? Вечную жизнь, вечное возвращение жизни; будущее, обетованное и освящённое в прошедшем; торжествующее Да, сказанное жизни наперекор смерти и изменению; истинную жизнь как общее продолжение жизни через соитие, через мистерии половой жизни.
216. Всё, что присутствует в акте соития, беременности, родов, возбуждало высшие и торжественные чувства. В учении Мистерий освящено «страдание»: «муки роженицы» освящают страдание вообще, — всякое становление и рост, всё, что служит залогом будущего, обуславливает страдание... Чтобы существовала вечная радость созидания, чтобы воля к жизни вечно подтверждала саму себя, для этого должны также существовать «муки роженицы»... Всё это означает слово «Дионис»: я не знаю высшей символики, чем эта греческая символика, символика дионисий. В ней религиозный смысл придаётся глубочайшему инстинкту жизни, инстинкту будущности жизни, вечности жизни, — самый путь к жизни, соитие, понимается как священный путь... Только христианство, с лежащим в его основе ресентиментом по отношению к жизни, сделало из половой жизни нечто нечистое: оно забросало дерьмом начало, предпосылку нашей жизни...
217. Психология оргиазма, как бьющего через край чувства жизни и силы, внутри которого даже страдание действует как стимул, дала мне ключ к понятию трагического чувства, неверно понятого как Аристотелем, так и в особенности нашими пессимистами. Трагедия так далека от того, чтобы доказывать что-либо в пользу пессимизма эллинов в шопенгауэровском смысле, что скорее её следует считать решительным опровержением этого пессимизма и противоположной ему инстанцией. Говорить жизни «да» даже в самых непостижимых и суровых её проблемах; воля к жизни, ликующая, когда она приносит в жертву собственной

неисчерпаемости свои высшие типажи, — вот что назвал я дионисическим, вот в чём угадал я мост к психологии трагического поэта. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы, очиститься от опасного аффекта бурной его разрядкой — так понимал это Аристотель, — но для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, самому быть вечной радостью становления, — той радостью, которая включает в себе также и радость уничтожения...

218. И тут я снова соприкасаюсь с тем пунктом, из которого некогда вышел, — «Рождение трагедии» было моей первой переоценкой всех ценностей: тут я снова возвращаюсь на ту почву, из которой растёт моё «хочу», моё «могу», — я, последний ученик философа Диониса, — я, учитель вечного возвращения...
219. *Ибо созидающие тверды. И блаженством должно казаться вам запечатлеть вашу руку на тысячелетиях, как на воске, — — блаженством писать на воле тысячелетий, как на меди, — твёрже, чем медь, благороднее, чем медь. Совершенно твёрдым бывает только самое благородное. Эту новую скрижаль, о братья мои, ставлю я над вами: станьте тверды!*

*Конец текста*